

Посвящается Изобель,
которой первой пришёл в голову сюжет
о сёстрах Эдельвейс.
Это был потрясающий год.
Спасибо, что вместе со мной
работаешь над всеми этими книгами!

Пролог

Зальцбург, Австрия, 1945

Весна несётся по городу, как песня, симфония красоты и обновления среди разрушений войны. В Мирабельгартене, за пределами великолепного дворца, клумбы — настоящее буйство маргариток и желтофиолей, анютиных глазок и незабудок.

Магнолии на Марктплатц-сквер усыпаны шелковистыми цветами, радостно журчит река Зальцах, стекающая с заснеженных Китцбюэльских Альп через луга, все в белых звёздах нарциссов. Сине-зелёные воды реки безмятежно струятся, не беспокоясь о разрушенных мостах, которые зияют над ней, напоминая о бомбах, уничтоживших эти мосты и купол собора, но, к счастью, оставивших невредимым многое другое.

Высоко над городом, у старинных зданий аббатства Ноннберг, выкрашенных краской цвета охры, крадётся женщина, прячась в тени от восходящего солнца, ползущего по горам Зальцкаммергута, покрытым голубым туманом, и тянущего длинные, прозрачные, маслянисто-золотые пальцы к пикам цвета индиго, которые окружили Зальцбург, как зубчатая корона великана. Младенец у неё на руках кричит, тоненько, скуляще, слишком слабо для голодного ребёнка.

Она натягивает одеяло на лицо крошечной девочки, качает её, просит не шуметь. У женщины ушла почти неделя, чтобы добраться сюда, она вся в грязи, голодна и измучена. Было бы гораздо легче отдать младенца компетентным бюрократам, ко-

торые теперь, услужливые и деловитые, наводнили города и посёлки отсюда до Гамбурга, или даже оставить там, где он родился всего несколько недель назад, среди боли и страданий, пришёл в мир, который безнадежно сломан, и кажется, что его уже не починить.

Но она обещала, и вот она здесь, всё её тело покрыто синяками и сведено болью, руки баюкают маленького человечка, которому каким-то непостижимым, немислимым образом удалось выжить.

Высоко наверху часы на куполе в стиле барокко, венчающем аббатство, бьют шесть. Скоро сюда соберутся монахини, их голоса возвысятся как один, когда они будут произносить древние слова, над которыми не властно ни время, ни война. Ребёнок вновь начинает плакать, и женщина понимает, что больше не может ждать. Она с неохотой взвалила на себя это бремя, но теперь ей тяжело с ним расставаться. Эта малышка — единственное, что связывает её с другим человеком, с чем-то кроме её бесконечных скитаний по всему миру, с одной из множества погибших на войне — бездомных, безымянных, одиноких.

Она прижимает младенца к груди, вспоминая пальцы матери ребёнка, вцепившиеся в её ладонь, — холодные, костлявые пальцы с содранными ногтями, которые впивались ей в кожу, горя последними силами, с каждой секундой утекающими в грязную солому.

— *Пожалуйста... обещай мне... ради моего ребёнка...*

Что ещё ей оставалось, кроме как сдержат клятву?

— *На Гетрайдегассе есть магазин часов... над ним вывеска с веточкой эдельвейса... отнеси ребенка туда... а если магазина там нет, то в аббатство. Монахини там добрые. Они знают, что делать. Поцелуй меня...*

И вот она здесь, с этим крошечным, никому не нужным свёртком, зажатым в руках. Она побывала на Гетрайдегассе, и дверь в магазин оказалась заколочена. Так что пришлось прийти сюда, к аббатству. Она не сможет заботиться о ребёнке, она должна оставить девочку здесь. Последний удар часов уплы-

Сестры Эдельвейс

вает в рассветную тишину, эхо разлетается по узкому двору, кло-чья тумана испаряются в свете солнца. Собравшись с духом, женщина идёт вперёд, одной рукой качая младенца, другой сжи-мая старый ящик, найденный возле бакалейной лавки в зловон-ном переулке у Кайгассе. Его сырые, прогнившие доски станут столь же скромной колыбелью, в какой лежало святое дитя, ко-торому монахини теперь поют славу.

Она ставит ящик на пороге аббатства, осторожно кладёт туда ребёнка, подтыкает грязное одеяло, подаренное ей сотруд-ником Красного Креста в Мюнхене, вокруг сморщенного личи-ка. Заворачивает в одеяло маленький вязаный цветок эдельвей-са — его передала мать ребёнка в надежде, что он вызовет вос-поминания, что монахини узнают и поймут.

Она наклоняется, чтобы поцеловать малышку в бледную щёчку, поднимает тяжёлый дверной молоток и опускает один раз, два, три, каждый удар — в такт биению её сердца.

Она слышит шаги, тихие и неторопливые шаги по древним ступеням, и отступает в тень, прячется за колонной, потому что должна это увидеть.

Дверь открывается с долгим, недовольным скрипом, выхо-дит монахиня и с безмятежным любопытством оглядывается по сторонам, пока не замечает ящик у ног. Она молода, эта мона-хиня; её лицо под белой намиткой — гладкий, чистый овал, у неё стройное тело, тонкие руки. Она поднимает ребёнка, и на её лице появляется удивлённое выражение.

Женщина смотрит, как монахиня прижимает к телу ребён-ка; несмотря на своё призвание, она знает, как его держать, ин-стинктивно гладит маленькую, хрупкую головку. Губы распла-ваются в нежной улыбке.

Вот и всё. Она исполнила своё обещание, больше ей нече-го здесь делать. Тихо, с болью в сердце и во всём теле, женщи-на ускользает прочь, а солнце поднимается над городом, напол-няя его светом.

Глава первая

Зальцбург, 1934

Музыка неслась из высокого узкого дома на Гетрайдегассе, радостные струйки звуков петляли по тёмному и переполненному магазину на первом этаже, где стояли стеклянные шкафы с мраморными каминными часами. Настоящей гордостью магазина были величественные напольные часы и часы с кукушкой, искусно вырезанные великим Иоганном Баптистом Беха, которые отбивали каждые четверть часа на протяжении почти ста лет.

Музыка плыла по узкой лестнице в гостиную, мимо потёртых вельветовых диванов, украшенных салфетками с вышивкой ручной работы, мимо тяжёлых деревянных столов и стульев, потемневшего от времени шкафа из красного дерева — всё это было перевезено сюда из деревянного фермерского дома в Тироле — в кухню с квадратным столом и почерневшей плитой.

Минуя пролёт в хозяйские спальни, она поднималась на второй этаж, с его крохотными мансардными комнатами, маленькие окна которых выходили на луковичные купола Зальцбургского собора, на Альпы и бахрому цвета индиго за ними.

Музыка наполняла все комнаты; три голоса — альт и два сопрано — слились воедино в нежной мелодии знаменитой народной песни «Лорелей»:

*Не знаю, о чем я тоскую.
Покою душе моей нет.*

Сестры Эдельвейс

*Забить ни на миг не могу я
Преданье далёких лет...**

И внезапно воцарилась тишина.

— Биргит, мне кажется, ты сфальшивила, — сказала Лотта и жизнерадостно рассмеялась, откинув назад волосы, рассыпав по плечам золотисто-пшеничный водопад. — Или это была я? — Она вновь расхохоталась, светло улыбнувшись сёстрам. — Давайте ещё раз.

— Нет времени. — Биргит быстро отвернулась, пряча лицо от смеющихся глаз младшей сестры. — Отец ждёт, — и она понеслась прочь из дальнего зала магазина, где они репетировали, чтобы не тревожить отца, страдавшего жестокими головными болями с тех пор, как почти двадцать лет назад, в битве при Оршове, в него попал румынский снаряд.

— Биргит... — начала было Лотта, и в её голосе зазвучали встревоженные нотки. Она попыталась остановить сестру, но самая старшая, Иоганна, покачала головой:

— Пусть идёт. Ты же понимаешь. А я иду одеваться, — и она быстро вышла из комнаты вслед за Биргит и направилась в комнаты. Лотта, чуть слышно вздохнув, поплелась за сестрой, продолжая напевать, но на этот раз её никто не поддержал.

В кухне их мать, Хедвиг Эдер, возилась с пирожными, повязав фартук поверх лучшего своего платья, какое надевала только по воскресеньям. Хотя она прожила в городе двадцать три года, до этого она ни разу не посещала ни одного из мероприятий Зальцбургского фестиваля, если не считать бесплатного спектакля на соборной площади, ради которого даже крестьяне спускались с гор. А сам фестиваль проводился по большей части для состоятельных отдыхающих и туристов, приезжавших на один день из Вены, Берлина и даже из дальних городов — искушённых людей с быстрыми автомобилями, лукавыми головами и скользкими манерами — или, по крайней мере, такими

* Слова песни написаны Генрихом Гейне в 1824 году, перевод С. Я. Маршак.

их считала Хедвиг. Модники — так называли их зальцбургцы, и в этом слове слышался то ли трепет, то ли презрение, а может, и то и другое.

Её супруг, Манфред, стоял в дверном проёме кухни, тоже в лучшем своём наряде — поношенном костюме из шерстяного твида. При виде посыпанных сахаром пирожных с кремом, аккуратно разложенных на блюде, он улыбнулся.

— Ах, Приюгельторте, — радостно воскликнул он, — мои любимые. — И он наклонился, чтобы поцеловать жену в щёку; смутившись, Хедвиг отодвинулась в сторону.

— Мне кажется, я видела мышь, — сказала она, накрывая пирожные сеткой. — Придётся вновь вызывать человека.

Он с нежностью смотрел, как она суетится в кухне, переставляя с места на место то чайник, то тарелку, не глядя ему в глаза.

— Хедвиг, здесь нет мышей, — наконец ласково сказал он. Она пожала плечами.

— Мне кажется, я видела.

Вновь улыбнувшись, Манфред обнял её за талию.

— Ты слишком беспокоишься.

— С чего бы мне беспокоиться? Это ведь не я буду петь.

— Всё равно.

Хедвиг отодвинулась, потому что хоть и любила мужа, её порой раздражала его излишняя пылкость.

— Всё у них будет хорошо, — убеждал Манфред, пока она продолжала сновать туда-сюда по кухне. — Главное — не победа, а опыт. К тому же это не сцена Фестшпильхауса, а просто любительский конкурс в ресторане, только и всего. Давай просто наслаждаться сегодняшним днём.

Хедвиг не ответила, потому что понимала — наслаждаться у неё не получится, как бы она ни старалась. Но она всё же рассеянно улыбнулась мужу, понимая, что он-то уж точно получит удовольствие, подошла к маленькому потрескавшемуся зеркальцу у двери и стала приводить в порядок волосы. Хоть она и была дочерью простого фермера, она всегда старалась выглядеть опрятно.

— А вот и они! — объявил Манфред, сияя улыбкой, когда в кухню, смеясь, выплыла Лотта, следом Иоганна, деловитая, как всегда, а за ними Биргит, которая очень старалась не выдать волнение. На них были дирндли — народные костюмы с пышными юбками и клетчатыми фартуками, и Лотта со смехом утверждала, что похожа на доярку, но поскольку конкурс спонсировался Ассоциацией австрийских национальных костюмов, эти наряды, старательно и любовно сшитые Хедвиг, подходили как нельзя лучше.

Участию сестёр в конкурсе поспособствовал учитель музыки Лотты. Младшей дочери Манфреда и Хедвиг повезло трижды: из всех трёх сестёр Эдер она была негласно признана самой красивой, самой обаятельной и самой способной к музыке. Несколько лет назад Манфред и Хедвиг решили, что ей стоит брать уроки пения — о том, чтобы предоставить такую возможность Иоганне или Биргит, никто и не думал, потому что у них было не очень-то много денег. Но Лотта так любила музыку, что отказать их маленькому жаворонку казалось Манфреду почти жестокостью. Хедвиг, заправлявшая всеми расходами, была не слишком довольна, но, тем не менее, серебряные гроши и золотые шиллинги исправно, день за днём, неделя за неделей опускались в погнутую жестяную банку на полке над плитой.

Когда учитель, господин Грубер, предложил Лотте принять участие в любительском конкурсе, проходившем в день знаменитого фестиваля, девушка заявила, что не станет петь одна, только вместе с сёстрами. Они могли бы составить трио; на публике они ещё не выступали, но по вечерам часто пели втроём, хотя высокое сопрано Лотты возносилось над более скромными голосами её сестёр.

Господин Грубер согласился на трио и записал их на конкурс. Лотта поддерживала сестёр своим энтузиазмом и убеждала, что они разделят на троих этот потрясающий опыт, потому что никогда не любила быть в центре внимания, хотя и казалось, что она рождена для этого.

— Мы готовы? — спросил Манфред. Лотта повязывала золотые волосы шарфом, Биргит поправляла фартук. Все его дочери, белокурые и голубоглазые, были очень похожи и в то же время настолько разные, насколько могут быть три человека: Иоганна унаследовала волевые черты и энергичную манеру матери, Лотта отличалась игривостью и лёгкостью, а Биргит, тихая, застенчивая средняя сестра, всё ещё искала своё место в мире.

— Как мы выйдем, папа? — спросила Лотта, кружась в роскошной юбке.

— Как три самые красивые девушки во всём Зальцбурге. Подождите-ка. — Манфред достал из кармана три веточки эдельвейса, которые сорвал сегодня утром, на прогулке по Минсбергу. Он немало удивился, обнаружив эдельвейс, выросший на выступе известняка высоко над городом.

— Эдельвейс! — воскликнула Иоганна. — Где ты его нашёл?

— Где он обычно и растёт — в горах, — с улыбкой ответил Манфред и сунул по веточке с жёлтыми цветами и бархатистыми листьями в вырез платья каждой из дочерей. — Теперь вы не сёстры Эдер, а сёстры Эдельвейс! Настоящая сенсация!

— Что за чепуха, — пробормотала Хедвиг, но не смогла сдержать улыбку, и Лотта звонко рассмеялась, словно зазвенел хрустальный колокольчик.

— Сёстры Эдельвейс! — повторила она. — Изумительно!

— Мы сейчас опоздаем, — заметила Биргит, а Иоганна нетерпеливо цокнула языком.

— Что ж, пойдём. — Манфред хлопнул в ладоши, и вся семья покинула кухню, спустилась по лестнице и вышла на оживленную улицу. Непрерывный поток посетителей фестиваля направлялся к Фестшпильхаусу на Хофшталгассе, всего в полумиле отсюда, а Эдеры — в ресторан «Электролифт» на Монхсберг, где должен был проходить конкурс.

Лотта, как всегда, обаятельная, гарцевала впереди, очарованная карнавальная атмосферой. Одни посетители фестиваля на-

рядились в народные костюмы — ледерхозен и дирндли, другие оделись элегантно и модно. Настроение у всех было приподнятое, и сёстрам передалось это радостное волнение.

Когда Иоганна остановилась, чтобы покрепче завязать фартук, из узкого переулка на площадь перед ними выехал «Даймлер». Бледное лицо женщины смотрело из машины на толпу со скучающим безразличием.

— Все в порядке, Биргит? — спросил Манфред, улынувшись средней дочери, которая плелась чуть позади, теребя фартук.

— Да, папа. — Её лицо осветила лёгкая ответная улыбка, отчего оно стало почти красивым. Манфред потрепал её по руке. Он чувствовал особенную привязанность к ней, так похожей на него самого. В семнадцать лет закончив школу при монастыре, Биргит начала работать бок о бок с отцом, единственная из сестёр проявив интерес к сложной механике часов, катушкам, пружинам и шестерням, которые, соединившись вместе, могли отсчитывать время. Он надеялся, что она найдёт свой путь в жизни, и может быть, этот путь будет пролегать далеко от их маленького магазина.

Иоганна шла рядом с Хедвиг; если бы волосы жены Манфреда не начали седеть, мать и дочь можно было бы принять за сестёр, так очевидно они были скроены из одной и той же прочной ткани. Он верил, что суровость Иоганны что-нибудь смягчит, может быть, любовь, как вышло с Хедвиг.

А Лотта, его смешливая, милая младшая дочь? Она двигалась легко, как балерина, беззаботно подняв лицо к небу, раскинув руки, наслаждаясь простыми радостями жизни. Что можно пожелать Лотте? Манфред лишь улыбнулся, глядя на неё.

Было за что благодарить судьбу в такой день, когда воздух был свеж и прозрачен, как вода, а небо — тёмно-лазурного цвета, и смотреть на него было больно, но все смотрели, упивались цветом, и воздухом, и видом гор. Кто мог не ахнуть или, по край-

ней мере, не пробормотать «*вундербар*»*, увидев эти горы, окружившие Зальцбург, эту корону, защищавшую город больше тысячи лет?

Это был день радости и хороших воспоминаний, потому что в Австрии в последние месяцы было слишком много неопределённости — в феврале вспыхнуло восстание социалистов, унесшее сотни жизней, в мае разорвалась бомба прямо здесь, в Зальцбурге, в Большом фестивальном театре. В июле канцлер Энгельберт Дольфус был убит австрийскими нацистами в ходе попытки государственного переворота, которая, к счастью, была подавлена в течение нескольких часов. Такая неопределённость делала каждый день бесценным.

Семья свернула на Хофштальгассе, слившись с большой толпой, направлявшейся к Фестшпильхаусу, где должны были состояться главные выступления фестиваля — Бруно Вальтер дирижировал «Дон Жуаном» Моцарта, дебютировал Артуро Toscanini.

Еще несколько минут, и они наконец прибыли в «Электролифт», впечатляющее здание из дерева и камня, окна которого выходили на старый город и возвышавшуюся над ним древнюю крепость Зальцбурга. Лотта ахнула, когда кабина лифта повезла их наверх, а Хедвиг не смогла сдержаться и, нахмурившись, схватилась за стенку.

Сам ресторан был обшит деревянными панелями и завешан зеркалами, так что казался огромнее, чем был на самом деле. Столы убрали, чтобы разместить как можно больше стульев, и почти все они уже были заняты.

— Не думала, что придёт столько народа, — встревоженно пробормотала Хедвиг, и Манфред успокаивающе ей улыбнулся:

— И хорошо, что столько. Аудитория — это важно.

Она беспомощно смотрела, как какой-то важный господин ведёт её дочерей к импровизированной сцене; улыбнув-

* Чудесно (*нем.*).

шись, Манфред обнял жену и повёл к отведённым им местам в первом ряду.

— Куда они пошли?

— За кулисы, готовиться. Не переживай. Они счастливы! — Он чуть сжал её руку, на его лице было написано искреннее удовольствие, но Хедвиг всё-таки было не по себе, и она нервно озиралась по сторонам.

В ресторан входили всё новые и новые зрители, гудели разговоры, звенел смех, все болтали и изучали программки. Хедвиг взглянула на листок, который ей вручил Манфред, и при виде слов «Трио сестёр Эдер» у неё закружилась голова. Ей казалось, что зал медленно уплывает вбок, и она не знала, как с этим справиться. Манфред положил руку ей на локоть.

— Скоро начнётся концерт.

И он начался. Несколько выступлений они прослушали молча, лишь аплодируя в нужных местах, впечатлённые голосами даже самых явных дилетантов. Поскольку конкурс проводила Ассоциация национальных костюмов, все участники были соответствующе одеты, все исполняли народные песни, и Хедвиг чуть расслабилась. Она знала много песен, а традиционная одежда, уже давно не повседневная для жителей Вены, ощущалась как что-то близкое, родное. Она начала наслаждаться концертом.

И вот на сцене появились их дочери — три прелестные девушки в дирндлях и клетчатых фартуках, светловолосые, розовощёкие, и Хедвиг увидела их словно в первый раз: высокую и сильную двадцатилетнюю Иоганну, отличную работницу; Биргит, которая могла казаться такой дружелюбной, когда стояла прямо и смотрела людям в глаза, и Лотту, очаровательную Лотту, всего шестнадцати лет от роду, с лицом чистым, как роса, с глазами голубыми, как небо, Лотту, жаждавшую всем нравиться, всех радовать, словно пришедшую из другого мира. Как можно было не полюбить Лотту?

И зазвучали их голоса, такие нежные и прекрасные, сплетаясь воедино в мелодию юности, невинности, чистоты. Хедвиг

не сомневалась, что все вокруг растроганы так же сильно, как и она. Её сердце забилося чаще от болезненной любви к дочерям, и она окинула Манфреда гордым, счастливым взглядом. Он улыбнулся ей в ответ так нежно, что у неё защипало глаза.

— Разве нам не повезло? — пробормотал он, взяв её ладонь в свою. — Разве нас не щедро одарил Господь?

Хедвиг смогла лишь кивнуть.

Сёстры Эдер не заняли первого места, не заняли вообще никакого, но никто из них не расстроился. Им было достаточно и того, что они вообще смогли спеть, а в конце вечера все только и могли говорить, что о семье фон Трапшов, которые опоздали, но поразили всех потрясающей гармонией своего выступления, в котором приняли участие не трое, а целых девять детей, и мать тоже! Даже Хедвиг впечатлилась.

— Мария фон Трапш могла бы стать монахиней в аббатстве Ноннберг, — мечтательно прошептала Лотта, когда Эдеры возвращались домой в лиловых сумерках, и нежный, как шёлк, благоухающий ветерок ласкал их разгорячённую кожу. Посетители фестиваля отправились кто домой, кто в отель, чтобы переодеться в вечерние наряды и провести ночь в самом роскошном местном ресторане или клубе, так что улицы ненадолго опустели. — А потом стала гувернанткой у фон Трапшов — тогда у них было только семь детей, и один из них сильно заболел, — и в итоге вышла замуж за их овдовевшего отца-барона. Ну разве не романтично?*

— Скорее неразумно, — с присущей ей прямоотой ответила Хедвиг. — Ну что может монахиня знать о детях? И как же её обеты? — Хедвиг была такой же верующей, как и её супруг, и не было в её жизни воскресенья, в которое она пропустила мессу, вечера, в который она легла спать, не помолившись по чёткам.

* История Марии фон Трапш впоследствии легла в основу бродвейского мюзикла «Звуки музыки» (1959).